

## Александр Куприн

### Соломон

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему.

Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. Работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, - это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; но тот уверял, и тоже с клятвой, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо - Ахиор, Захария и двое свидетелей - стояли перед тронном царя Израильского.

Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже:

- Отведите их всех в отдельные покои и запирайте каждого отдельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины.

- Пусть каждый из них, - повелел царь, - вылепит из глины ту форму, которую имел камень.

Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой - в виде овечьей головы, и только у двоих - у Ахиора и Захарии слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь.

И царь сказал:

- Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору, и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек, и отдает десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.

Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в середине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее - для старшего, среднее - для среднего, нижнее - для меньшего из братьев». И когда после его смерти они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед тронном, не воздержались они от взаимных упреков и обид.

Царь покачал головой, выслушал их и сказал:

- Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему - весь скот и всех рабов, а младшему - дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше.

И трое братьев - недавние враги - с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.

И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.

Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:

- Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.

Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.

- Я исполнил все, что ты приказал, царь, - сказал этот человек. - Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.

- Прекрасный выстрел, - сказал Соломон. - А младший?

- Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца».

- Так пусть ему и принадлежит имение его отца, - решил царь. - Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью.

Затем предстали пред царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.

Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:

- Прежде чем я решу ваше дело, послушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: «Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь!» И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, послушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех поступил лучше пред лицом Бога - девица, жених или разбойник?

И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же находил самым великодушным поступок разбойника.

И сказал царь последнему:

- Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказав, подняв руки кверху, как бы для клятвы:

- Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него! Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:

- Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.

И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении.

Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:

- Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток! Мне теперь нечем накормить моих детей.

- Когда это было? - спросил царь.

- Это случилось сегодня утром, на заре.

И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых должны были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:

- Молили ли вы Бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?

И они ответили:

- Да, царь! Это так. И Богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер.

- Я радуюсь за вас, - сказал Соломон. - Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?

И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты.

«За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот Я делаю по слову твоему. Вот Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе».

Так сказал Соломону Бог, и по слову Его познал царь составление мира и действие стихий, постиг начало, конец и середину времен, проник в тайну вечного волнообразного и кругового возвращения событий; у астрономов Библоса, Акры, Саргона, Борсиппы и НиневиИ научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

Помыслы в сердце человеческом - глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадку непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых.

## Анафема

- Отец дьякон, полно тебе свечи жечь, не напасешься, - сказала дьяконица. -  
Время вставать.

Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрезвычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины - подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но протодьякон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренно боялся своей немного истеричной, немного припадочной дьяконицы. Детей у них не было, дьяконица оказалась бесплодной. В дьяконе же было около девяти с половиной пудов чистого веса, грудная клетка - точно корпус автомобиля, страшный голос, и при этом та нежная снисходительность, которая свойственна только чрезвычайно сильным людям по отношению к слабым.

Приходилось протодьякону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно-длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично: смазывать горло, полоскать его раствором борной кислоты, дышать паром. Еще лежа в постели, отец Олимпий пробовал голос.

- Via... кмм!.. Via-a-a!.. Аллилуйя, аллилуйя... Обаче... кмм!.. Ма-ма... Мам-ма... «Не звучит голос», - подумал он.

- Вла-ды-ко-бла-го-сло-ви-и-и... Км...

Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чипу и по обычаю. Но нередко, творя крестное знамение, он также бледнел от волнения и думал: «Ах, не сорваться бы!» Однако только один он во всем городе, а может быть, и во всей России, мог бы заставить в тоне ре-фис-ля звучать старинный, темный, с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стекляшки на паникадилах.

Жеманная кислая дьяконица принесла ему жидкого чаю с лимоном и, как всегда по воскресеньям, стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос:

- Ми... ми... фа... Ми-ро-но-сицы... Эй, мать, - крикнул он в другую комнату дьяконице, - дай мне ре на фисгармонии.

Жена протянула длинную, унылую ноту.

- Км... км... колеснице-гонителю фараону... Нет, конечно, спал голос. Да и черт подсунил мне этого писателя, как его?

Отец Олимпий был большой любитель чтения, читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке «устава», на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертуллиан, Ориген Адамантовый, Василий Великий и Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами снабжал его студент из Вифанской академии Смирнов, и как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на зверей.

Это чтение взбудоражило стихийную протодьяконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть и часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки и ворочался с боку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом. В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось. Так же, как знаменитый

баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз, откашливаясь, попробовал голос. «Км, км... звучит в ре, - подумал он. - А этот подлец непременно задаст в до-диез. Все равно я переведу хор на свой тон». В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловня всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким же благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре. Вошел архиепископ и торжественно был водворен на свое место. Митра у него была надета немного на левый бок. Два иподиакона стояли по бокам с кадилами и в такт бряцали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место. Два священника вынесли из алтаря иконы Спасителя и Богородицы и положили их на аналой.

Собор был на южный образец, и в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма, с винтовым ходом вверх.

Медленно, ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни - он всегда боялся, как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности, - поднялся протодьякон на кафедру, откашлялся, потянул из носа в рот, плюнул через барьер, ущипнул камертон, перешел от до к ре и начал:

- Благослови, преосвященнейший владыко.

«Нет, подлец регент, - подумал он, - ты при владыке не посмеешь перевести мне тон». С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно, переходит свободно из тона в тон и сотрясает мягкими глубокими вздохами весь воздух собора.

Шел чин православия в первую неделю великого поста. Пока отцу Олимпию было немного работы. Чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил дьякон из академиков - будущий профессор гомилетики.

Протодьякон время от времени рычал: «Воимем»... «Господу помолимся». Стоял он на своем возвышении огромный, в золотом, парчовом, негнувшемся стихаре, с черными с сединой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь была вся набита какими-то слезливыми старушонками и седобородыми толстопузыми старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков.

«Странно, - вдруг подумал Олимпий, - отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, похожи либо на рыбу морду, либо на куриную голову... Вот и дьяконица тоже...»

Однако профессиональная привычка заставляла его все время следить за службой по требнику XVII столетия. Псаломщик кончил молитву: «Всевышний Боже, Владыко и Создателю всея твари». Наконец - аминь.

Началось утверждение православия.

«Кто Бог великий, яко Бог наш; ты еси Бог, творяй чудеса един».

Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще последование в неделю православия и чин анафематствования можно видоизменять как угодно. Уже того достаточно, что святая церковь знает анафематствования, написанные по специальным поводам: проклятие Ивашке Мазепе, Стеньке Разину, еретикам: Арию, иконоборцам, протопопу Аввакуму и так далее и так далее. Но с протодьяконом случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена.

Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме, с необычайной яркостью, всплывали простые, прелестные и бесконечно увлекательные образы. Но, безошибочно следуя привычке, он уже окончил символ веры, сказал «аминь» и по древнему ключевому

распеву возгласил: «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди».

Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона преблагенного отца и пастыря Андрея Критского, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафемствовал и отлучил от церкви: иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащихся учения Итала, немонаха Нила, Константина-Булгариса и Иреника, Варлаама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь, магометан, богомоллов, жидовствующих, проклял хулящих праздник благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников: Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение, противное православной вере.

Потом пошли проклятия категорические: не приемлющим благодати искупления, отмещущим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предания.

«Помышляющим, яко православнии государи возводятся на престолы не по особливому от них Божию благоволению, и при помазаний дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену. Ругающим и хулящим святые иконы». И на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами: «Анафема». Давно в толпе истерически всхлипывали женщины.

Протодьякон подходил уже к концу, как к нему на кафедру взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоиерея: по распоряжению преосвященнейшего владыки анафемствовать боярина Льва Толстого. «См. требник, гл. л.», - было приписано в записке.

От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло. Однако он откашлялся и опять начал: «Благослови, преосвященнейший владыко». Скорее он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея:

«Протодиаконство твое да благословит Господь Бог наш, анафемствовати богохульника и отступника от веры Христовой, блядословно отвергающего святые тайны Господни боярина Льва Толстого. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».

И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны и стали тяжелыми и жесткими, точно из стальной проволоки. И в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести: «...Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

- Дура, дура! - заговорил он. - Куда летишь? Дура! Дура! - Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

- Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, - приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. - Сама себя губишь, а я тебя жалею».

«Боже мой, кого это я проклинаяю? - думал в ужасе дьякон. - Неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности».

Но, покорный тысячелетней привычке, он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу, точно удары огромного медного колокола... ..Бывший поп Никита и чернцы Сергей, Савватий да Савватий же, Дорофей и Гавриил... святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хотят; все за такое богопротивное дело да будут прокляты...

Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По обеим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной.

«А то раз сидел на воде, смотрю - зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чьи такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой-то черт: взял за ножки да об угол! Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить».

...Хотя искусити дух Господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его... И да приидет проклятельство и анафема не точию сугубо и трегубо, но многубо... Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удушение, Симона волхва погибель, ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение... да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его да не рассыплется и земля его да не примет, и да будет часть его в геенне вечной, и мучен будет день и ночь...

Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова: «Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь».

Протодьякон вдруг остановился и с треском захлопнул древний требник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые, наряду с чином исповедания мирских человек, мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства.

Лицо его стало синим, почти черным, пальцы судорожно схватились за перила кафедры. На один момент ему казалось, что он упадет в обморок. Но он справился. И, напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно:

- Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, боярину Льву...

Он замолчал на секунду. А в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарканья ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченная одним чувством. И вот глаза протодьякона наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделалось столь прекрасным, как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлянулся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел:

- ...Многая ле-е-е-та-а-а-а.

И вместо того чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх.

Теперь напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали на всю церковь: «Многая, многая, многая лета».

На кафедру к отцу Олимпию уже взобрались: отец настоятель, отец благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица.

- Оставьте меня... Оставьте в покое, - сказал отец Олимпий гневным свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой отца благочинного. - Я сорвал себе голос, но это во славу Божию и его... Отойдите!

Он снял в алтаре свои парчовые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, орарь, перекрестился на запрестольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный, прошел он мимо архиерейского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть.

Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица и, плача и дергая его за рукав рясы, залепетала:

- Что же ты это наделал, дурак окаянный!.. Наглотался с утра водки, нечестивый пьяница. Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут, нужники чистить, бугай ты черкасский. Сколько мне порогов обить теперь из-за тебя, ирода, придется. Убоище глупое! Заел мою жизнь!

- Все равно, - прошипел, глядя в землю, дьякон. - Пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, а сан все равно сложу с себя. Завтра же. Не хочу больше. Не желаю. Душа не терпит. Верую истинно, по символу веры, во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы не приемлю. «Все Бог сделал на радость человеку», - вдруг произнес он знакомые прекрасные слова.

- Дурак ты! Верзило! - закричала дьяконица. - Скажите - на радость! Я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там!.. Я пойду к губернатору, до самого царя дойду... Допился до белой горячки, бревно дубовое.

Тогда отец Олимпий остановился, повернулся к ней и, расширяя большие волосьи гневные глаза, произнес тяжело и сурово:

- Ну?!

И дьяконица впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала.

А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.

<1913>